

**Елена  
Арсеньева**



**Любовный  
водевиль**

Русская красавица

Елена Арсеньева  
**Любовный водевиль**

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.161.1-312.4  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Арсеньева Е. А.**

Любовный водевиль / Е. А. Арсеньева — «Эксмо»,  
2018 — (Русская красавица)

ISBN 978-5-04-096849-7

Таких оваций давно не слышал провинциальный театр! Дебютировав на его подмостках, юная Варенька заставила зал рыдать и восхищаться, затмила приму, переманив и ее поклонников... И никто не знал, что всего за день до этого девушка бежала из дома терпимости, куда ее насильно устроил опекун, что зовут ее Анна Осмоловская и она дворянского происхождения. Во всяком случае, была до того дня, пока не явилась таинственная повитуха и не сообщила, что Анну в младенчестве подменили. И вот теперь ее ждет судьба актрисы — если, конечно, сластолюбивый опекун не доберется до нее... Ранее книга выходила под названием «Звезда на содержании»

УДК 821.161.1-312.4  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-096849-7

© Арсеньева Е. А., 2018  
© Эксмо, 2018

# Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

28

# Елена Арсеньева

## Любовный водевиль

*Кто может знать, какая блажь  
Со взрослой девушкой случится?!*

### *Старинный водевиль*

– Приехала.

– Приехала, барин...

Господин и слуга, стоявшие у окна в бель-этаже и осторожно, из-за портьер, глядевшие на улицу, разом вздохнули. Барин – потому, что ему предстояло совершить трудную и неприятную обязанность и разрушить огромный мир мечтаний и надежд, который только мог поселиться в голове и сердце несмышленной, наивной восемнадцатилетней девицы. Слуга – потому, что хоть и был верным Лепорелло при этом несколько постаревшем Дон-Жуане, а все же не всегда одобрял своего хозяина. А впрочем, и подлинный Лепорелло порою решался противоречить Дон-Жуану... да что проку-то из того вышло?!

– Поди-ка отвори ей, Данила, – сказал барин, которого, к слову сказать, звали Константином Константиновичем Хвоцинским.

– Нешто, – буркнул Данила, коему положение Лепорелло позволяло некоторую короткость с баринком. – Небось внизу Петрушка, он и отворит.

В самом деле – из окна было видно, как по высокому крыльцу чуть не кубарем скатился взъерошенный малый и помчался по дорожке к калитке, у которой стояла наемная карета. Кучер, нетерпеливо колотивший рукоятью кнута в воротину, соскочил с козел и открыл дверцу кареты. Подал руку.

Слуга и господин подались вперед, чтобы ничего не упустить. Показалась рука в черной перчатке, которая оперлась на руку кучера, потом ножка в черном башмачке, край черной юбки, затем явилась взору наклонившаяся вперед фигура в черном платье, шали и черном же капоре.

– В трауре, – пробормотал Хвоцинский.

– В жаях-с, – уточнил Лепорелло, предпочитавший изъясняться на старинный русский манер.

– Прескучное зрелище, – констатировал Хвоцинский, сделав кислую мину.

– Что и говорить! – кивнул верный слуга.

Черная фигура поднялась по ступенькам. Позади Петрушка и кучер поволокли два саквояжа и сундук.

– О-хо-хо, – вздохнул Хвоцинский. – Поди расплатись там. На чай непременно дай, не позабудь, а то знаю я тебя... Потом небось так ославят, что в другой раз кареты из почтовой конторы не дозовешься. Хотя... ты вот что, Данила. Ты расплатись и попроси кучера погодить с полчаса. Возможно, я быстренько управлюсь. Даст Бог, тем же экипажем и... – Он сделал решительный жест.

Данила прищурил один глаз.

– Как велите, барин! – И побежал прочь осторожною маленькою рысцою, причем шлепанье кожаных подошв его старых чувяков некоторое время доносилось еще до барина, пока не утихло в дальних покоях анфилады.

Хвоцинский сунул пальцы меж пальцев и несколько раз хрустнул ими, однако сей же миг спохватился и спрятал руки за спину. Привычка хрустеть пальцами была в обществе осуждаема и презираема...

Прошло несколько минут, и вдали раздались приближающиеся шаги. Хвоцинский насто-рожился и вслушался. Сквозь шлепанье Даниловых чувяков доносился теперь некий свистя-

щий и шуршащий звук. Опытное ухо Хвощинского знало его – это был шелест дамского платья по навощенному паркету. По дощатым полам платья шуршали иначе. Однако у Хвощинского было настроено заведено: и мебель, и паркет непременно вощить, чтобы до зеркального блеска! На расправу он был скор, а потому чуть не всякий день танцевали по комнатам полотеры с привязанными к ногам щетками-вощанками. Ходить в обыкновенной обуви по такому скользкому паркету было весьма затруднительно, оттого и сам хозяин, и слуги его, и частые гости передвигаться были принуждены маленькими шажочками, не то рисковали упасть. Хвощинский приучился по шагам распознавать людей, живших в достатке. Такие были к вощеному скользкому полу привычны, ну и продвигались спокойно и мерно. А которые норовили поспешить, те начинали махать ногами по сторонам, на потеху лакеям. «Чисто цапли пляшут на болотине!» – подхихатывал Данила, и лакеи затаив дыхание следили за новичками в доме. Особенную веселость доставляли им дамы... Сейчас Хвощинский вслушивался в легкую поступь и шелест, перемежавшиеся со шлепаньем Даниловых чувяков. Никаких взвизгиваний, никаких скачков-прыжков... ну да, конечно, она должна быть привычна к такому малому признаку роскошества, как вощенные полы.

Вот повернулась бронзовая ручка двери. Вот створка открылась... всунулось сморщенное, словно печеная картофелина, лицо верного Лепорелло.

– Эвона! – изумленно сказал Лепорелло и вновь исчез, а вместо него вступила в комнату давешняя фигура в черном платье, шали и капоре. Ступив два шажочка, присела, не поднимая головы.

«Ух ты, верста коломенская, – подумал Хвощинский. – Неудивительно, что бука. К тому ж запоздалые наряды, запоздалый склад речей... – Хвощинский, надобно заметить, был человек светский, а значит, держался в курсе модных новинок, да и вообще, Пушкина считал сочинителем порядочным, хотя, честно сказать, предпочитал ему Ленского... нет, отнюдь не Владимира, героя романического, а Димитрия Тимофеича, автора модных водевильчиков. – Однако же что имел в виду Данила, когда эвакунул?»

– Анна Викторовна, – сдержанно проговорил Хвощинский, – чрезвычайно рад вашему прибытию. Да полно глаза тупить, взгляните ж на меня!

Гостя подняла голову, и Хвощинский растерянно заморгал.

Она была в самом деле высокого роста, вовсе даже не хрупкая, что былина, но и не толстуха крупитчатая, а просто в хорошем теле, да и приличной бледностью отнюдь не отличалась – цвет лица ее вызывал в памяти не томность лилий, а сочетание их с жизнерадостными розами. У нее был вздернутый нос, яркие свежие губы – чтобы сделать их по-модному маленькими, девушке пришлось бы непрестанно держать их сложенными куриной гузкою, да и то едва ль помогло бы, – и большие серые глаза в окружении длинных ресниц. Не то чтобы она ослепляла взор, подобно признанным красавицам – нет, черты ее не были классически верны, – однако при взгляде на это лицо неволью думалось: «Ого какая!», или «Ну и ну!», или «Вот те раз!», а может быть, даже и «Эвона!».

Хвощинский рассеянно провел рукой по лбу, вдыхая дивный аромат юности и очарования, столь сладостный для каждого немолодого человека, и даже ощутил некое головокружение, но тотчас овладел собой. Он славился тем, что соображал быстро. И сейчас, глядя на это лицо, он подумал, что кучера, ждущего у ворот, можно бы и отослать. Он мгновенно перерешил все свои действия, доселе тщательно выстроенные, и даже изготовился изменить собственную судьбу. Ему показалось, что неприятную обязанность можно сделать весьма приятной... а сочетать приятное с полезным – что может быть лучше?!

– Ну что ж, – пробормотал он, – да вы ведь совсем взрослая девица, оказывается.

Она присела, как бы благодаря за комплимент, но не сказала ни слова, а Хвощинскому страстно захотелось услышать ее голос.

– Итак, вижу, тетушка Марья Ивановна заботливо лелеяла вас и вырастила истинно прелестный цветок, – продолжил он с ноткой приветливости.

– Век за нее Господа буду молить, – прошептала девушка. – В день ее смерти я думала, что сама от горя умру.

От нежности, прозвучавшей в этом голосе, у Хвоцинского пробежал сладостный холодок по спине.

«Какой же я был глупец, что не хотел видиться с ней прежде, – покаянно подумал он. – А ведь покойница настаивала... Глупец, одно слово – глупец! Ну да ничего, теперь мы свое возьмем, теперь упущенное наверстаем!»

– Бедное дитя, – сказал он ласково. – Я сделаю все, все, что в моих силах, чтобы вы поняли: жизнь для вас отнюдь не кончается, а только начинается.

– То же самое говорила мне и тетушка перед кончиною, – кивнула девушка. – Я привыкла верить ей, пришлось поверить и на сей раз, хотя... хотя, по правде сказать, мне это чрезвычайно трудно. Может быть, теперь, когда я оказалась в доме родительском... в моем доме... я оживу несколько, но пока что я чувствую себя, как растение, выдернутое из родной почвы и еще не пересаженное в новую клумбу.

Хвоцинский насторожился. Хотя приезжая изрекала приличные банальности, голос ее звучал живо и свободно, и он подумал, что это растение может оказаться весьма живуче. Корешки его, такое впечатление, впитывают живительную влагу даже из воздуха... Для достижения же его плана нужно было эти корешки изрядно обкорнать, что он и начал делать исподволь.

– Понимаю, что вы устали с дороги, Анна Викторовна, и я как хозяин дома должен бы прежде предложить вам пройти в умывальную комнату и сесть за завтрак, однако есть дела весьма важного свойства, которые следует решить незамедлительно.

Он нарочно сделал упор на словах «хозяин дома» и заметил, что брови девушки – две ровных дуги, правда, несколько более широкие и густые, чем того требовала мода, – дрогнули и между ними появилась легкая складочка. Итак, она это заметила... и насторожилась. Пожалуй, все сложится не так просто, как ему хотелось бы. Ну что ж, кучер по-прежнему ждет...

– Дела эти настолько безотлагательны, что мне даже нельзя пыль дорожную отряхнуть? – удивилась девушка. – Ну что ж, извольте, говорите все, что полагаете нужным. Однако же, надеюсь, сесть мне будет дозволительно?

В последних словах прозвучало дуновение насмешки, которое, впрочем, Хвоцинский мгновенно уловил – и вспомнил одно из писем Марьи Ивановны, где та писала о свободолюбивой и весьма своеобразной натуре своей воспитанницы, к которой совершенно неприменимы привычные методы принуждения. Тогда он отписался небрежным советом «сечь девку чаще, ибо это во все времена давало наилучшие результаты: и меня секли, и это чудилось ужасным, а между тем пошло лишь на пользу!» Теперь понятно, что Марья Ивановна совету сему не последовала. Воспитанницу явно не секли... и вот какая якобинка выросла! Ну что ж, ей же хуже придется, коли не привыкла смирять свой норов... потому что смирить его придется, это Хвоцинский знал доподлинно, как если бы он был знаменитой гадалкой мадам Ленорман.

– Прошу меня извинить, Анна Викторовна, – промолвил он сухо, – что не пригласил вас сесть. Конечно, прошу на кресла, располагайтесь как дома.

Он снова выделил голосом два последних слова и увидел, что недоуменная складочка вновь появилась на гладком, высоком лбу.

Девушка опустила в кресло, выпрямила спину – Хвоцинский снова отметил внешнюю безукоризненность ее манер, – сложила руки. Юбка натянулась на колене, из-под тяжелого муарового подола высунулся краешек башмачка.

Хвоцинский тяжело сглотнул.

Черт знает, что такое с ним сегодня творится! Весна действует, не иначе. К девкам съездить, что ли... А может быть, завести другую содержанку, сменить эту вертихвостку Наденьку Самсонову, которая, ей-же-ей, на сторону смотрит, не ценит своего счастья! «Жениться надобно, батюшка!» – ворчал порою Данила, а Хвощинский все посмеивался: на мой-де век гулящих девок хватит! Ну что ж, не жену так содержанку, а по крайности и проститутку он нынче заведет, и ни у какой мадам Ленорман об этом спрашивать не придется!

– Анна Викторовна, вы перенесли тяжелый удар утраты своей воспитательницы и опекунши, – начал Хвощинский. – Сожалею, что я, ваш второй опекун, назначенный таковым согласно завещанию вашего отца... вернее, друга моего Виктора Львовича Осмоловского, должен сейчас не утешать вас и лелеять, а нанести вам еще один удар.

– О чем вы все говорите? – спросила девица с волнением, которое тщетно пыталась скрыть под слабой улыбкой. – На что намекаете? Какой удар вы мне должны нанести? Уж извольте сказать прямо, а не ходить вокруг да около!

Итак, она сама его вынуждает!

– Коли так, коли вы желаете все прямо...

Хвощинский глубоко вздохнул, набираясь последней решимости.

– Анна Викторовна, вы восемнадцать лет своей жизни прожили в блаженном сознании, что принадлежите к благородной фамилии, что родители ваши скончались во младенчестве вашем – мать умерла родами, отец спустя год последовал за ней, не снеся утраты и подкошенный к тому же скоротечной чахоткою, – однако вам оставлено было богатое, весьма богатое наследство, во владение которым вы должны вступить по достижении вами восемнадцатилетнего возраста или по выходе замуж, буде сие случится раньше. Однако Бог испытывает человека в вере и смирении его. Такое же испытание послал он вам. Знайте же, Анна Викторовна... я по старой привычке назову вас еще этим именем, но уж в последний раз... знайте же, что вы не дочь Виктора Львовича Осмоловского и его жены Елизаветы Петровны, а значит, вы не имеете права ни на имя и фамилию моего покойного друга, ни на его состояние. Вы просто никто!

\* \* \*

– Ревет? – спросила мадам Жужу.

– Нет, мадамочка, – хмыкнула Мюзетка. – Не ревет-с. Как легла, так и лежит. Не движется, не шевельнется. Может, спит?

– Всякое может быть, – кивнула мадам Жужу. – Ну, так и быть, пускай до вечера отдохнет, а уж вечером я ее как пить дать к публике выгоню. Каждый должен сам зарабатывать хлеб свой, а не рассчитывать на милостыню.

Мюзетка невинно моргнула:

– Так ведь этот господин, что ее к нам прислал, он вроде бы дал денег на ее содержание?

– А твое какое дело? – окрысилась мадам Жужу. – Что это за моду девки взяли – деньги в чужом кармане считать?!

Как розы были хороши  
В моем садочке,  
Когда у папеньки жила  
Я милой дочкой... —

пропела Мюзетка, приняв самый невинный вид, и выражение лица мадам Жужу несколько смягчилось. Она баловалась стихосложением, а кроме того, обожала (по ее собственному выражению), ну просто обожала музицировать. Ее страстью были маленькие романсы, в

основном посвященные собственной судьбе. Это она некогда жила у папеньки милой дочкой, ну а потом папенька спился, маменька умерла от чахотки, а умирающую от голода Наташу (таково было подлинное имя мадам Жужу) купил за еду какой-то купчик. Потом она ему надоела, он и сдал ее в бордель, где разумная и трудолюбивая девушка быстро прославилась и достигла высот положения – сама стала мадам. Наташа, принявшая имя мадам Жужу, сделалась довольно известна в старой столице, однако в последнее время повздорила с обер-полицмейстером, который обложил желтобилетчиц ну просто-таки непомерной данью, а потом просто закрыл заведение, придравшись к какой-то мелочи. Мадам Жужу не намерена была уступить: она просто снялась с места, да и отбыла со своими пятью первейшими красотками из Москвы в провинцию. На гастроли, так сказать. Вот уже с полгода она жила в городе N, где происходит действие нашей истории, и до того успешно конкурировала с городским публичным домом, что к ней постепенно перебежали лучшие девицы, так что число их достигло уже десяти, и они были в горячие дни не то что нарасхват, а просто в драку.

Разбили сердце мне, бедняжке,  
Злые люди,  
Ах, кабы раньше знала я,  
Как оно будет!  
Ах, кабы раньше знала я,  
Ах, кабы знала,  
Я не гуляла б ночью той  
Вокруг базара.  
Там повстречала я его —  
Он был красавец.  
Да на поверку вышло, что  
Большой мерзавец.  
Сорвав невинности цветок,  
Он удалился,  
И новой шлюхой белый свет  
Обогатился! —

продолжала петь Мюзетка. Песня была длинная-предлинная, со множеством куплетов, однако мадам Жужу ее уже не слушала. Ну, первое дело, она ее и так наизусть знала, все же свое собственное творение, а во-вторых, заботили даму сейчас совершенно другие дела, весьма далекие и от стихосложения, и от злословий, как любят выражаться поэты, ее лирической героини.

Заботы принадлежали дню сегодняшнему, когда давний друг и почитатель талантов мадам Жужу (нет, не пиитических, отнюдь!), а также постоянный посетитель ее заведений как в Москве, так и в городе N, привел нынче к ней новую девушку. Правильней будет сказать, что девушку не привели, а на руках принесли сам господин Хвоцинский (так звали сего друга и почитателя) и его камердинер. Она была почти в бесчувствии и едва ли понимала, что творится вокруг и с нею. Видимо, испытала некое потрясение, которое и вышибло совершенно почву из-под ее ног.

Сначала, увидав девицу (тип этот, знала по опыту мадам Жужу, лишь на любителя, строго на любителя!), хозяйка скосоротилась, однако потом приняла во внимание немалую сумму, с порога уплаченную Хвоцинским и долженствующую окупить вполне все те издержки, которые неминуемо понесет заведение, покуда барышня не войдет в силу и не овладеет тонкостями ремесла. Хвоцинский также упирал на девственность своей протее: девушка воспитывалась в глуши, под присмотром строгой тетки, соблазнов городской жизни еще не изведала, сердце ее

было нетронуту, тело – само собой разумеется. Мадам Жужу прикинула, кто из ее посетителей способен раскошелиться на такое лакомство. Выходило, что немногие: стыдливых девственниц кругом хоть пруд пруди, посетители же «Магнолии» искали не скромности, а изощренности. И все же так совпало, что именно сегодня заведение должен был навестить некий молодой господин, для которого нетронутый розанчик имел бы высокую цену.

Итак, мадам Жужу дала согласие принять «пансионерку», но до вечера оставила ее в покое. Пусть девушка придет в себя, никуда она уже не денется! Сейчас для мадам Жужу гораздо интересней было поразмыслить над тем, что ей рассказал Хвоцинский... рассказал весьма сбивчиво и взволнованно, однако мадам Жужу была из тех, кто схватывает на лету и, по пословице, иглу в яйце видит.

Вот что было поведано Хвоцинским.

Анюта Осмоловская («Аннетой у меня зваться будет, какая еще Анюта, фи!» – немедленно решила мадам Жужу) была дочерью его старинного друга и дальнего родственника. Родители ее рано умерли, девочка была поручена заботам кузины Осмоловского, старой девы, жившей в уездном городке, а состояние ее, весьма даже немалое, – попечению Хвоцинского, известного *эконома*. Деньги были им помещены в ценные бумаги, куплены хорошие земли, сделаны вложения в уральские месторождения, дававшие немалую прибыль, во время поездки в Париж Хвоцинский прикупил также акции бразильских изумрудных приисков, а часть денег шла в рост. Словом, Анюта Осмоловская вполне могла бы зваться богатою невестою, когда б не случилось некоего казуса, принадлежащего к разряду роковых случайностей. Однажды, возвращаясь из театра (а Хвоцинский принадлежал к числу тех господ, которых Пушкин называл «театра злой законодатель, непостоянный обожатель очаровательных актрис, почетный гражданин кулис»), он увидел, что за ним потихоньку плетется какая-то старуха. Нищенка, решил Хвоцинский и остановился, чтобы подать ей монету. Однако старуха денег не взяла, а бросилась в ноги Хвоцинского и стала молить его снять с ее души грех и выслушать ее. Недоумевающий барин отверз, выражаясь фигурально, свой слух, и вскоре у него встали волосы дыбом – встали вполне буквально. Эта старуха оказалась повитухою, которая принимала роды у Елизаветы Осмоловской, и она свидетельствовала о том, что девочка, дочь ее, родилась мертвой. Случилось это, увы, по вине и недосмотру и доктора, и повитухи, и оба страшно перепугались. Очень кстати повитуха – звали ее, к слову сказать, Каролина, и она была наполовину немкою, ну а доктор был немцем чистокровным, а значит, оба они уже вообразили себя уничтоженными возмущенными русскими... и та же участь должна была непременно постигнуть всех немцев в городе N, в городе, сохранившем во многом нравы патриархальные, а значит, преисполненные неприязни к иноземцам! – вспомнила, что одна ее знакомая благополучно разрешилась от бремени два дня тому назад, однако случившемуся вовсе не радовалась, ибо родила дочку незаконную и совершенно не ведала, что с ней делать и на что жить. В проворных немецких умах доктора и повитухи, обостренных опасностью, родился ужасный умысел...

Пока молодая Осмоловская лежала без памяти, Каролина тайно убежала из дома, унося мертворожденного младенца, выкинула его в Волгу без сердца и без жалости и снеслась со своей приятельницей, которая была, видимо, тоже хороша, ибо без малейших сомнений согласилась сделаться соучастницей. Она надеялась на сем деле хорошо пожить и охотно продала родное дитя Каролине. Та вернулась в дом Осмоловского с ребенком и предъявила его отцу. Он легко сделался жертвой обмана – совсем не потому, что был прост умом, а прежде всего потому, что жена его умерла на его глазах от внезапно открывшегося кровотечения... И только тут доктор и Каролина поняли, что и смерть ребенка была бы Осмоловским принята со смирением, ведь кончина жены имела для него гораздо большее значение: он был из тех немногих мужчин, которые живут только любовью к женщине...

Но что сделано, то сделано, обратного пути не было: известие о том, что Елизавета Осмоловская умерла, родив прекрасную, здоровую девочку, уже пронеслось между родственниками

и знакомыми. Дитя сразу приняла под свое крыло немолодая кузина убитого горем отца. Звали сию незамужнюю даму Марьей Ивановной. Лишенному матери ребенку, конечно, нужна была кормилица. Каролина немедленно порекомендовала свою приятельницу – соучастницу в подмене. Сначала та согласилась, радуясь, что постоянно будет с дочкой, однако через некоторое время она поняла, что навсегда останется при родной дочери только служанкою, а со временем окажется с нею разлучена навеки, да и денег, обещанных Каролиной, было не видно. Материнские чувства ее вкупе с алчностью разыгрались и возмутились. Она возмечтала заполучить дочь назад.

Между тем Марье Ивановне сразу не понравились простонародные, грубые манеры кормилицы, ее неряшливость, она стала подыскивать другую молодую мать, пусть даже и со своим ребенком, а не лишенную его. Обиженная кормилица рассорилась с хозяйкою, кинулась к Каролине и стала требовать воротить ей ребенка. Напрасно Каролина и доктор пытались вразумить ее, напрасно убеждали, что пути назад нет и быть не может. Баба безрассудно принялась угрожать: мол, ежели добром не вернут ей дитя, да еще с приплатою за пользование им, она расскажет обо всем Марье Ивановне, а вдобавок сообщит в полицию.

Злоумышленники так перепугались, что порешили покончить дело одним ударом: топором по голове непокладистой соучастнице. Попросту сказать, задумано было смертоубийство, задумано и осуществлено... да вот беда, осуществили его не слишком ловко, убийц мигом обнаружили. Им удалось свалить всю вину на злосчастную бабу, которая-де явилась к ним, чтобы убить самих за то, что они якобы против нее барыню настраивают. То ли судьи оказались простодушны, то ли решили дело, как это частенько бывает на Руси, барашки в бумажке, однако смертной казни доктор и Каролина избежали. Преступники упорно молчали о подмене ребенка. Они прекрасно понимали, что участь их была бы весьма отягощена, откройся такое дело. Так все и пребывало шито-крыто много, много лет...

О судьбе доктора, соучастника сего преступления, Каролина знала туманно: якобы умер он по пути в каторгу или вскоре после прибытия туда. Сама же она срок своей кары отбыла и воротилась в город N ровно через семнадцать лет после случившегося. Жила мирским подаянием и очень бедствовала, нанимаясь на самую черную работу, медленно гния от чахотки. Как-то раз очутилась подле знакомого ей дома Осмоловского. Вспомнила дела давно минувшие и спросила у сторожа, каково живут хозяева. Тот оказался словоохотлив и поведал, что Виктор Осмоловский давно умер, а сейчас в доме проживает его дальний родственник господин Хвощинский, который и распоряжается всеми делами и опекает молодую наследницу барышню Анну Осмоловскую. Она вскоре, по достижении восемнадцатилетия, должна явиться в город из глухомани, где воспитывается, и начать выезжать, чтобы найти себе достойного супруга и сделаться полноправной наследницей...

При мысли об этом все прошлое оживило в груди Каролины. Анна Осмоловская... барышня, наследница! Да какая она барышня, с ненавистью думала Каролина, она незаконная дочь жалкой побродяжки! В этом ребенке видела теперь бывшая повитуха причины всех своих бедствий. И мысль о мести овладела ее извращенной душой. Она стала искать способы поговорить с Хвощинским и открыть ему всю правду о происхождении Анюты. Удобного случая никак не выдавалось, а между тем здоровье Каролины делалось все хуже и хуже. Она боялась умереть, не найдя удовлетворения своей мстительности. И вот представилась такая возможность...

– Ну конечно, я не тотчас поверил, – рассказывал Хвощинский мадам Жужу. – Это было похоже на какой-то водевиль дурного толка, только вывернутый наизнанку: там ведь сплошь да рядом бедная сиротка оказывается дочерью знатных родителей и богатой невестою, а здесь выяснилось, что богатая невеста и наследница знатной фамилии – просто незаконный ублюдок! Я не поверил, да, я прогнал Каролину прочь, однако она валялась в ногах моих и клялась, что не лжет, ведь смерть уже смотрит ей в глаза. Она предложила хоть к судье пойти и рассказать все прилюдно. Она даже готова была понести наказание за то старое преступление...

конечно, надеясь, что неминуемая и скорая смерть принесет ей помилование! Я пришел в ужас от этой мысли, – продолжал Хвоцинский. – Сделать позор имени Осмоловских явным! Заставить моих дорогих родственников ворочаться в гробах своих! Нет, я решил молчать. Стиснуть зубы и молчать. Я даже не решился поведать о случившемся Марье Ивановне, опасаясь убить известием добрую старушку, вся жизнь которой была в жизни ее воспитанницы. Но тут до меня дошло известие о том, что она скоропостижно умерла, а Анна *Викторовна* (язык не поворачивается называть ее этим именем!) едет ко мне. Сознаюсь, я ждал ее с ожесточением. Но при виде этого прелестного, юного создания сердце мое растопилось. В конце концов, подумал я, она ведь ни в чем не виновна. Все случившееся произошло с ней без ее воли, согласия ее сделаться подменным никто не спрашивал (да и мыслимо ли сие, коли она в ту пору была бессмысленным младенцем?!), да и позднее она пребывала в полном неведении относительно своего происхождения... Сердце мое рвалось на части, и разум мой изнемогал от напряжения. С одной стороны, я не мог и помыслить о том, чтобы древним и славным именем Осмоловских бесправно наслаждалась и пользовалась дочка какой-то гулящей нищенки, понесшей плод во время блудилища неизвестно с кем. С другой стороны, меня преследовала мысль о невинности и невинности этой девицы. Вы знаете, как никто другой, что я грешный человек, мадам Жужу! – сказал Хвоцинский далее и покаянно понурил голову. – Я грешен прелюбодеянием и гордынею. Я мнил себя существом честнейшим и совершеннейшим: ведь все эти годы я тщательно и рачительно распорядился состоянием Осмоловских, приумножая его и не трогая в нем ни копейки. Я возгордился... А теперь я подумал: а что, если в лице этой девицы Господь посылает мне испытание для смирения моего?! И я решил принять это испытание. Я решил замолчать исповедь Каролины... и прикрыть не только ее грех, но и грех рождения этого ребенка. Я решил жениться на Анне Викторовне и немедленно сделал ей предложение. Конечно, я это совершил только из жалости к несчастной...

При этих словах мадам Жужу восторженно вскинула глаза на Хвоцинского. Она тоже любила водевили и была завзятой театралкою, а значит, усвоила некие общепринятые сценические ужимки. Знала, когда и какую реплику подать, какую гримаской вовремя выразить свои мысли и чувства, истинные и предназначенные для публичного выражения... истинные-то она скрывала, а вот выражать наигранные была великая мастерица. Истинные мысли ее в данный миг были таковы: «Не ее ты жалел, а состояние, которое из рук твоих выходит, коли она не Осмоловская, а ты не опекун больше! Вот уж ни за что не поверю, что такой хитрец, как ты, не нагрел руки на вверенных тебе капиталах!» Разумеется, об сих мыслях никто не догадывался и догадаться не мог. Любой и каждый мог увидеть только выражение восхищения добродетельным человеколюбием рассказчика.

Именно это увидел и господин Хвоцинский и продолжал, весьма воодушевленный:

– Однако же вообразите мое... – Он замялся и поискал подходящее слово. – Вообразите замешательство мое, когда в ответ получил я не просто вежливый отказ – сие было бы хоть как-то объяснимо, учитывая разницу нашу в летах и мечтания молодых девиц о сказочных принцах, – по лицу Хвоцинского, впрочем, видно было, что никакую причину для отказа он объяснимой и извинительной не считает, – а выслушал грубую и вульгарную отповедь о том, что мне пора на свалку или уж напрямиком на кладбище, а я вместо этого протягиваю руки к прелестям и деньгам несравненной Анны Викторовны. В ее замыслах сыскать себе, с таким-то приданым и красотой, не просто мужа, но и очень богатого, родовитого, красивого мужа – наилучшего из всех возможных, – а для сего она вот уже год как составляет список возможных своих женихов. И я, с моими летами и наружностью, никоим образом даже приближаться к сему списку не смею... подобно той свинье, которая не смеет соваться со своим-то рылом в калашный ряд.

Подвижная физиономия мадам Жужу выразила неприкрытое осуждение и даже ужас.

– И тогда я понял, что был слишком самонадеян, решив взять на себя роль ангела милосердного, – сказал Хвоцинский. – Это юное создание, зачатое и рожденное во грехе, уже несло на себе неискоренимую наследственную печать. Женившись на ней, я бы навесил на себя такой камень, с которым непременно потонул бы в мутной пучине жизни. И тогда я утратил жалость и решил предоставить ее той участи, для которой она была рождена. Я привез ее к вам.

– Однако же странно, что вы не предложили сей девице замолить грехи ее матери в монастыре, – усмехнулась мадам Жужу.

– У меня было такое намерение, а как же, – кивнул Хвоцинский. – Однако девушка сама сказала, что для нее лучше в веселый дом или на панель, нежели в монастырский затвор. Ну что ж, я решил воспользоваться последними правами опекуна и удовлетворить ее самое заветное желание.

– Скажу по правде, – осторожно начала мадам Жужу, – Анюта ваша...

– Ради всего святого, не называйте ее моей! – с отвращением воскликнул Хвоцинский и даже весьма выразительно передернулся, чтобы подчеркнуть это свое чувство.

– Пардон, пардон, – кивнула мадам Жужу. – Извольте-с, не стану. Пусть так: *Аннета*, – она выделила имя голосом, и Хвоцинский, поняв, одобрительно хмыкнул, – не слишком похожа на человека, чье самое заветное желание исполнилось. С тех пор, как ее сюда привезли, она лежит, не вставая с места, не двигаясь, не шелохнувшись, как убитая.

– Она и впрямь была истинно убита тем, что ее происхождение открылось, – пояснил Хвоцинский. – Я подробно обрисовал обстоятельства ее рождения, ну а когда она весьма грубо усомнилась, призвал в свидетельницы Каролину, которую предусмотрительно задержал в своем доме до приезда моей бывшей воспитанницы.

– В самом деле, вы были весьма предусмотрительны, – сказала мадам Жужу и сделала восхищенную улыбку. – Точно так же, как и щедры, – она ласково улыбнулась солидной пачке ассигнаций, которая лежала на краю стола и символизировала собою ту сумму, которую Хвоцинский пожертвовал на содержание в публичном доме бывшей наследницы многочисленных осмоловских тысяч. – Однако как мне поступить, если девушка спохватится – и окажется, что она ни в коей мере не желает пойти по нашей весьма веселой, но и весьма скользкой дороге? Такое мне приходилось наблюдать... Должна ли я отпустить ее восвояси?

– Моя милая мадам Жужу, – сухо произнес Хвоцинский, – мне бы не хотелось напоминать вам, что мои деньги вложены в ваше дело, а закладные на ваши дома в Москве и N выкуплены мною. Фактически вы живете сейчас в здании, принадлежащем мне. Кроме того, напомню, что несколько месяцев назад вы брали у меня в долг некую сумму, но я и не заикаюсь о возврате, хотя срок уже наступил и даже миновал. Также прошу вас учитывать, что обер-полицмейстер N – мой добрый приятель.

Мадам Жужу взглянула на посуровевшее лицо гостя и кивнула:

– Я поняла вас, прекрасно. Ну а теперь, когда у меня появилась новая... воспитанница, я бы хотела узнать, не желаете ли вы встречи с мадемуазель Аннетой. Бутон невинности, розовый флер и сладость первой ночи...

– Бр-р! – снова передернулся Хвоцинский. – Довольно я хватил с ней хлопот. Пускай малость пообтешется. Я лучше вернусь домой, а вы займитесь тем, что подготовьте вашу новую девицу к выходу в мужское общество. Мне желательно, чтобы он состоялся как можно раньше и чтобы у сей особы за самый краткий срок побывало как можно больше гостей. Ну и вы понимаете, мадам Жужу, на случай каких-то вопросов... она явилась к вам *сама*, – он подчеркнул это слово, – по доброй воле, и для меня станет совершенным ударом увидеть однажды ее здесь, просто страшным ударом...

– Само собой, – кивнула мадам Жужу, и Хвоцинскому на миг показалось, что глаза ее остекленели, настолько старательно мадам лишила их даже намека на какое-то выражение, – разумеется, она пришла ко мне сама и по доброй воле! И можете не сомневаться – нынче же

вечером ознакомится с тонкостями ремесла. Но все же, коли не ее, может быть, соблаговолите выбрать другую девушку? Маришку? Мюзетку? Фанни? Затейницу Марго?

– Не сегодня, – покачал головой Хвоцинский, и лик его был скорбен и значителен. – Я должен пережить случившееся. Это такой удар – узнать, что девушка, в которую были вложены мои надежды, надежды ее родителей и воспитательницы, предпочла доле порядочной женщины участь... – Он вздохнул, мотнул головой и, простившись с мадам Жужу только беглым, печальным взглядом, удалился, оставив ее под пение Мюзетки размышлять о случившемся и прикидывать, как наивыгоднейшим образом распорядиться свалившимися на ее голову деньгами – и девицею по имени Аню... то есть Аннета.

...Внезапно Мюзетка оборвала свои трели и прислушалась. Насторожилась и мадам. Хлопали двери, раздавался громкий мужской смех, приближались шаги.

– Да неужто Милашенька-Сереженька прибыли?! – радостно воскликнула Мюзетка.

– Похоже на то, – пробормотала мадам Жужу, проворно сгребая ассигнации в обширный карман, вшитый в складки ее платья. – Рановато что-то. Беги, девушек поторопи, слышишь?

– А с новенькой как?

– Не тронь ее. Я сама к ней приду. Вот встречу господ – и приду.

Едва Мюзетка выбежала из комнаты, как другие двери распахнулись – и в гостиную ввалилась компания молодых людей. Они были в штатском, в сюртуках, кто-то даже во фраках, однако осанка их скорее могла бы называться выправкой и доказывала умение и привычку носить военный мундир.

Мадам Жужу усмехнулась. Несмотря на то что господа военные испытывали к штатским неискоренимое презрение и называли их «рябчиками» (за ношение фраков), они не брезгали партикулярным платьем, когда нужно было посетить места, уставом не одобряемые, как то питейное заведение или веселый дом. Да и на походы в театр полковое начальство смотрело неодобрительно, именно поэтому в городе N военные зачастую позволяли себе такие невинные маскарады. Впрочем, компания, явившаяся к мадам Жужу, большей частью состояла не из военных, а из купеческих или дворянских детей, то ли числящихся в неких номинальных должностях, то ли просто-напросто прожигающих состояния своих родителей, которых сумели убедить: новейшие-де времена требуют от молодежи немислимых загулов, все столичные львы так живут, «а чем мы хуже, или вы желаете, батюшка, чтобы нас тут замшелыми провинциалами звали?!». Коноводом развеселой молодежи был Сергей Проказов – некогда гусар, вышедший из полка после того, как на охоте ему какой-то французский граф нечаянно прострелил ногу (якобы дело происходило во время путешествия Проказова в Париж)... Ходили, впрочем, слухи, что причиной раны была тайная дуэль. Так оно, нет ли, однако слухи о тайной дуэли (запретном, смертоносном лакомстве!) немало способствовали популярности Проказова среди молодых его друзей, во всем ему подражавших, начиная от залихватской манеры повязывать модные галстуки – с несколько примятым, небрежным узлом – и заканчивая легкой, еле заметной хромотой. Мадам Жужу не единожды потешалась, глядя на молодых здоровяков, как по команде чуточку приволакивающих ногу, и размышляла, старались бы они столь усердно, кабы знали, что охота сия злосчастная происходила всего-навсего в Проказове, в имени Сергеева отца, и ногу Сергею прострелил не французский граф, но его собственный егерь... Дамы были от богатого и щедрого Сергея без ума, девицы мадам Жужу его обожали по той же причине (а также за веселую телесную пылкость) и называли Милашенька-Сереженька, сама же мадам относилась к нему снисходительно и именовала про себя мсье Леспьегль<sup>1</sup>.

Именно Проказову, безмерно щедрому моту, разжигавшему сигарки ассигнациями, и предназначалась в лакомство дебютантка Аннета. Хозяйка полагала, что он не постоит за ценой ради удовольствия!

<sup>1</sup> От *франц.* l'espègle – проказник.

– Весьма рада видеть вас, мсье Леспьегль, – сказала мадам Жужу, слегка кланяясь в сторону прочих гостей и никому не подавая руки: она прекрасно понимала свое место в обществе и умела не претендовать на большее. Кроме того, она по старинной моде нюхала табак и знала, что в ее пальцы запах сей неискоренимо въелся. Конечно, обоняние мужское отравлено трубками и сигарами, а все же негоже уловить им табачный дух, исходящий от разодетой в декольте, в каскадах драгоценностей дамы, которая радеет об их удовольствии. Как-то оно... не comme il faut. – Однако так раненько не ждала, уж не взыщите, коли подождать придется.

– Только по возможности недолго, – чуточку хрипловатым голосом, к которому вполне подходило определение «чарующий», проговорил Проказов. – Нам нынче еще на премьере в театре надо побывать, а прибыли мы сюда потому, что один наш приятель, слишком долго пребывавший в свите Артемиды, выразил наконец согласие расстаться с цветком своей невинности.

С этими словами он обернулся и показал мадам Жужу на молодого человека в сером сюртуке, изрядно измятом и вывалянном в сене. Сено же торчало из растрепанных темно-русых волос его. Физиономия его была довольно симпатичная, только ужасно помятая и бестолковая, глаза бродили туда-сюда, не в силах ни на чем сосредоточиться. Порою он исторгал из себя нечто совершенно бессмысленное, что-нибудь вроде: «Будьте здоровы!», или «Восхищаются меня ваши забавы, господа!», или вовсе несуразное, к примеру: «Онегин, добрый мой приятель, родился на берегах Невы», или «Чего тебе надобно, старче?» Словом, он был до безобразия пьян, и опытная в таких делах мадам Жужу не без издевки подумала, что нынче перестать служить Артемиде, а проще говоря, расстаться с невинностью этот юнец вряд ли окажется способен.

– Так что пристройте его к какой-нибудь красоточке, да поскорей, а нам пока велите шампанского подать, – продолжал Проказов.

Ну что же, желание клиентов всегда было законом для мадам Жужу, а потому она кликнула Мюзетку и велела увести юнца, которого, как выяснилось, звали Петром Свейским. Мюзетка, конечно, надула губки, узнав, что ей придется развлекать не Милашеньку-Сереженьку, а Душечку-Петрушечку. Но у мадам Жужу девушки были вышколены самым подобающим образом, своевольничать не смели, так что Свейского благополучно увлекли терять его залежавшуюся невинность.

Пока лакей откупоривал шампанское, мадам Жужу отвела Проказова в нишу окна для интимной беседы.

– А для вас, дражайший Леспьегль, у меня кое-что припасено, – проговорила она с дразнящей улыбкою. – Лакомство совершенно особенного свойства. Нарочно для вас прибережено.

– Новая девица, что ли? – оживились плутовские зеленые глаза.

– Новая, новехонькая! – кивнула мадам. – Свеженькая, такая прелесть, что пальчики оближете. Бутон, розанчик, утренней росой сбрызнутый!

– Бутон, розанчик... – насмешливо повторил Проказов. – Опять станете шлюху за невинность выдавать? Ох, знаю я вас, мадам Жужу!

Мадам Жужу состроила обиженную мину, однако в углах ее губ таилась шаловливая улыбка. Был за ней грех, пыталась она таким образом надуть Проказова... И почти надула, да вот беда, всего лишь почти...

И вдруг улыбочка пропала с лица мадам Жужу. А что, если Проказов невольно угадал? Что, если Хвоцинский солгал насчет Аннетиной девственности? Что, если он попользовался-таки своей бывшей подопечной и именно поэтому так поспешно сплавил ее в «Магнолию»? Ох, кажется, мадам Жужу дала нынче маху... Уж, казалось бы, стреляный она воробей, на мякине ее никак не проведешь, а ведь, очень может быть, оплошала-таки. Надобно было сразу доктора позвать и удостовериться самой! Но теперь лица терять нельзя.

– Да как хотите, голубчик Леспьегль, – сказала она с видом оскорбленной королевы. – Коли не по нраву вам мой сюрприз, так ведь другой искатель легко найдется, не сомневайтесь. Вот хоть бы и господин Хвошинский – он тоже весьма охоч до бутончиков-розанчиков...

Мадам едва не подавилась от смеха, говоря это, и с трудом удержала на лице обиженную гримасу.

– Ну вот еще, – передернул плечами Проказов. – Да что он сможет, этот старый потаскун, с молоденькой-то? Слюни пустит, а толку чуть! Зачем вашему розанчику портить первое впечатление от мужчины? Я ее возьму, заверните! – хохотнул он. – Только на всякий случай давайте уговоримся, что деньги я вам уплачу уже после того, как сдую пыльцу с вашего цветочка. Ладно, мадам Жужу? Ежели и в самом деле невинность розовая в наличии – все выложу до копейки. Ну а коли товар с гнильцой, как купцы говорят, то не взыщите! – Он развел руками.

– Ну уж нет! – воинственно уперла руки в боки мадам Жужу, мигом выставив наружу свое замоскворецкое, а отнюдь не парижское происхождение. – Ищи вас потом, свищи! Нет, денежки вперед!

– Вы меня обижаете, – загрустил Проказов. – Мыслимо ли в таком тоне с благородным человеком?!

Они еще некоторое время попререкались, а потом сошлись на половинном авансе. Тем временем все шампанское уже было выпито приятелями Проказова, и он велел подать еще. И только мадам Жужу с наслаждением сделала первый глоток «Вдовы Клико» (Проказов налил и ей – sprysнуть сделку), как раздался ужасный шум, и в комнату ворвалась Мюзетка, волоча за собой еле стоящего на ногах Свейского.

– Пусти меня, чучело! – бормотал он. – Изыди, уродина!

– Вот! – закричала Мюзетка. – Слышите, господа, как он меня честить изволит?! За что? Почему?!

– А чего ты меня раздевать принялась? – заплетаящимся языком, но вполне связно выговорил Свейский, освободившись наконец от цепких Мюзеткиных рук. – Ты мне кто? Дядька? Дядька, я тебя спрашиваю, чтоб штаны с меня тащить? Я такого баловства не люблю. И рожа у тебя зело размалевана... А может, ты блудная жена? – И он с таким ужасом принялся оглядывать и впрямь боевито раскрашенную, с пережженными буклями Мюзетку, что его сотоварищи, а Проказов – первый, закатились хохотом.

– Экий переборчивый! – с неудовольствием пробормотала мадам Жужу. – Пришел в бордель, а невинности хочет?

– Невинности хочу! – пьяно махнул рукой Свейский.

– Есть такая, да не про вашу честь, сударь, – хмыкнула мадам Жужу. – Так что не больно губу раскатывайте. Иному предназначена. Тому, кто побогаче вас будет!

Приятели Свейского внезапно принялись переглядываться да перемигиваться. Мадам Жужу удивленно взглянула, но те вдруг, точно по команде, замолкли, причем некоторые из них старательно зажимали рот руками, давясь хохотом. Мадам повернулась к Свейскому и успела увидеть, как он грозит приятелям кулаком, причем его пьяно шатало из стороны в сторону даже от этих невинных движений.

– Да пропади все пропадом! – вскричал вдруг Проказов и отчаянно махнул рукой. – Для милого дружка – хоть сережку из ушка. Коли закадычного приятеля моего господина Свейского не вдохновляют Мюзеткины потертые прелести, отдайте ему тот розовый бутончик, о котором вы мне говорили. Быть может, он воодушевит Петрушу на подвиг, коего мы от него ждем. Оно конечно, я слыхал, будто девушке прощаться с девственностью надобно в руках умелого и ловкого мужчины, а юноше обретать навыки – под присмотром опытной наставницы, да ведь нет, как говорится, правил без исключений. Хочется Петрушке невинности – будет она ему!

– Да не хочу я никого! – внезапно завопил Свейский. – Никого мне тут не надобно! Домой хочу! Зачем ты меня сюда привез, Проказов? Не хочу я в борделе, тошно мне тут. Поехали в театр.

– В театр рано еще, – мирным голосом сказал Сергей Проказов, привыкший, видимо, обращаться со своим не в меру капризным приятелем, не теряя при этом присутствия духа. – Неприлично светскому человеку приезжать к открытию занавеса, неужто ты, Петрушка, сего не знаешь?

– Хочу в театр теперь же! – завопил неугомонный Свейский. – Сей же минут хочу! Поехали в театр, Проказов, не то на дуэль тебя вызову! Мало что с маменькой и тетенькой меня поссорил, мало что в бордель завез, так еще и в театр не пускаешь?! Стреляться желаю с тобой! На тридцати... нет, на двадцати, нет, на десяти шагах!

– Тогда уж на трех, через платок, – усмехнулся Проказов. – Чего, в самом деле, волюнку тянуть: на десяти, на двадцати...

– На трех, согласен! – обрадовался Свейский. – Где мои лепажи?

– Я так думаю, тебе платок куда больше надобен, – сказал Проказов и, выдернув из-за обшлага, кинул приятелю большой шелковый платок. Свейский сделал нелепое движение, не то попытавшись поймать его, не то, напротив, увернуться, однако не устоял на ногах и плюхнулся в позади стоявшее кресло, нелепо задрав свои длинные ноги. – Вот и хорошо, ты отдохни пока, не мешай другим развлекаться.

– Отдохнуть – это хорошо, – пробормотал Свейский, вдруг сделавшись послушным. Он повозился в кресле, устраиваясь поудобней, потом откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза. – Хорошо... – И вслед за этим последним словом, слетевшим с его губ, он накрепко заснул, и даже рот приоткрыл, и даже похрапывать начал слегка...

– Вот и ладненько, – ласково сказал Проказов, однако в голосе его послышались мадам Жужу некие металлические нотки. – Ох, не люблю дураков... к тому ж богатых дураков, которые над окружающими издеваются и принуждают их потакать своим капризам. Разозлил он меня, не в шутку разозлил нынче! А когда я злюсь, меня начинают обуревать нечистые страсти! – Он ухмыльнулся. – А свои нечистые страсти я привык лелеять... Ну что, мадам Жужу? Вы готовы помочь мне взлелеять мои нечистые страсти и предоставить мне обещанный розанчик? Да только поскорей. Коли я не люблю приезжать к открытию театрального занавеса, это не значит также, что я готов видеть его уже закрытым. У нас есть полчаса. Ведите меня к бутончику! – властно взмахнул он рукой.

– Как полчаса? – несколько растерялась мадам Жужу. – Всего полчаса? Да мне полчаса мало даже, чтобы девушку одеть, подготовить к вашему приходу, а то она в черном платье, с косой... слова сказать не умеет... еще кричать начнет по глупости!

– А вы что, розанчик в декольте обрядить желаете и научите говорить: «Иди ко мне, мой пупсик, я тебя приласкаю!»? – захохотал Проказов. – Отлично, что в черном, что с косой! Отлично, коли кричать начнет и звать на помощь. Мне деланные охи-вздохи манонков ваших уже обрыдли. Когда я зол, я более всего удовольствия получаю, коли барышня мне противится. Немедля к розанчику! Ну?!

И зеленые глаза его начали рассыпать такие искры, а взгляд их сделался столь бешен, что мадам Жужу не сочла возможным более перечить. Забыв даже про то, что стоворилась с Проказовым об авансе, она повлекла его к дверям укромной комнатки, куда недавно была помещена протеже Хвоцинского. Станным показалось ей, впрочем, что дверь была приотворена...

Почувяв недоброе, мадам Жужу ворвалась в комнату – да так и ахнула, увидав опустелую кровать и отворенное настежь окно.

Она не сразу поверила своим глазам, а тем паче не сразу осознала, что Анюта, так и не ставшая Аннетой, сбежала!

\* \* \*

Анюта летела, не разбирая дороги, ничего не видя вокруг. Запуталась в юбках, чуть не упала, приостановилась, прижав ладонью неистово бьющееся сердце. Огляделась.

Куда она бежит? Неизвестно. Где она? Неведомо. Сплетенье узких улочек позапутанней того лабиринта, в котором некогда блуждал прославленный Тезей. Но его вывела к свету нить Ариадны, а кто даст путеводную нить Анюте, которая блуждает в лабиринте, созданном из обломков рухнувшего мира?!

Ее мир рухнул, да, он рухнул безвозвратно. Внезапная кончина тетушки Марьи Ивановны и переезд в город N... встреча с опекуном и страшное открытие собственного ужасного, унижительного происхождения... рассказ этой кошмарной, уродливой повитухи... «Какое счастье, – мелькнуло тогда в голове Анюты, – какое счастье, что и родители мои, и тетушка уже умерли и не успели узнать, что я их любви недостойна, какое счастье, что я узнала о своем позорном рождении не от них, что не успела увидеть в их глазах презрение и холодность!»

Кажется, это была последняя связная мысль, которая появилась в ее сознании за долгое время, потому что невероятные и кошмарные события продолжали сыпаться на ее несчастную головушку. Она была так потрясена, что даже плакать не могла. Просто стояла и смотрела на господина Хвощинского и думала о том, что фамилию своего опекуна помнит, а имени-отчества нет. И в ту минуту ей это казалось самым главным, ведь она должна была спросить его, как же ей жить дальше, куда податься, если она осталась на всем свете одна-одинешенька, никому не нужная, без крыши над головой и без гроша в кармане. А он... а он вдруг стал говорить что-то странное. Якобы он готов закрыть глаза на тайну Анютиногo рождения, потому что добрый и великодушный человек и заботится о том, чтобы имя его дорогого друга и родственника Виктора Львовича Осмоловского (того самого, коего Анюта всю жизнь считала своим родным отцом) не было покрыто позором. Ради этого он на любую жертву готов – даже на то, чтобы на Анюте жениться, прикрыть ее безродность своим именем.

От изумления Анюта даже вспомнила его имя и отчество: господина опекуна звали Константином Константиновичем. И она пискнула робко:

– Да как же сие возможно, Константин Константинович?!

– При желании нет ничего невозможного, – деловито ответил опекун. – Вас, быть может, беспокоит свидетельство Каролины? – И он небрежно кивнул в сторону ужасной старухи, которая смотрела на Анюту взором злобной гарпии. – Ничего, мы ей заплатим, и она будет молчать. Разумеется, сумма должна быть изрядная. Для этого немедленно после венчания вы передадите мне все права на ведение ваших денежных дел. И я определю Каролине приличное содержание в залог ее молчания.

– Но как же-с? – пролепетала Анюта. – Это же обман... несправедливый обман!

Каролина хихикнула весьма презрительно, а Хвощинский нахмурился:

– Вы что ж, меня лгуном считаете?! Я вас спасти желаю, а вы меня...

– Что вы, что вы, помилуйте, Константин Константинович, – слабеньким голоском бормотала Анюта, – как вы могли такое подумать. Я вам, конечно, по гроб жизни за вашу доброту признательна, а все же не пойму... как же так... ведь родители мои, ну, те, кого я по незнанию почитала как мать и отца, они ведь проклянут нас на том свете, это же им, их памяти поношение... Да и тетушка Марья Ивановна осудила бы меня, коли я согласилась бы...

– Позвольте осведомиться, вы, Анюта, круглая дура, что ли? – возопил Хвощинский. – Да что вам в тех мертвецах?! Вы-то еще живы! О себе думайте! Ну, говорите: пойдете за меня?

Анюта так и затряслась от неудержимых слез. Немил ей был Хвощинский, немил и постыл... Конечно, чем влачить жалкое существование подзаборной бездомной нищенки-побродяжки, небось и за черта с рогами пойдешь, а все же она никак не могла вымолвить такое

простое и такое трудное слово – «да». Что-то подсказывало: Хвоцинский не из жалости к ней предложение делает: он хочет посвоевольничать с деньгами Осмоловских! Анята во всех этих делах плохо разбиралась, однако ж понимала, что наследство Осмоловских все равно должно кому-то перейти, даже если дочь их – не дочь и никакого права на деньги не имеет. Значит, она, согласившись смолчать и за Хвоцинского выйти, все равно что ограбит этого неизвестного ей, может быть, очень хорошего и несчастного, бедного человека, для которого в этих деньгах вдруг да спасение от нищеты кроется? Да и не только в деньгах дело было...

Так же мало, как о деньгах, Анята знала и о мужчинах. Тетушка Марья Ивановна воспитывала ее в строгости – в такой, что с неудовольствием отпускала даже на военные парады полюбоваться, говоря, что невинной девице неприлично даже издали смотреть на такое количество марширующих мужчин. Вообще можно сказать, что воспитывалась она дикаркой и затворницей. Те молодые люди, военные или статские, которые изредка и очень издалека мелькали на Анятином горизонте (она ведь еще и выезжать не начинала, так что даже танцевала в малом зальчике со стареньким учителем, а вовсе не с кавалерами на балах), были весьма собой хороши и, самое главное, выглядели весьма благородно. На барышень они поглядывали враз восхищенно и снисходительно. Именно такой идеал будущего супруга и лелеяла в своем воображении Анята. О нет, он совершенно не должен быть именно жгучим брюнетом или голубоглазым блондином, так далеко мечты девичьи не простирались, но она точно знала, что он будет благороден... и взирать на нее станет восхищенно и снисходительно. И это делается непременно залогом семейного счастья. Но Хвоцинский не был благороден – ведь им двигала отнюдь не жалость к Аняте, а жажда наживы. И она заранее знала, как если бы увидела вещий сон, что ни капли счастья не выпьет из брачной чаши, которую преподнесет ей Хвоцинский: он будет смотреть на Аняту с презрением, он со свету сживет ее попреками. Да это еще полбеда... а грех перед Господом? Он-то все видит, все ведает, он-то будет знать, что перед алтарем станут два луна, которые на лжи захотят построить свой дом... Но именно в такие дома и метит Господь разящие молнии!

– Простите великодушно, Константин Константинович, – выдавила наконец Анята, – но я вашей женою стать не смогу. Отвезите меня, Христа ради, в монастырь... я буду там замаливать грехи моей несчастной матери.

Хвоцинский что-то еще говорил ей, но Анята впала в какое-то оцепенение и ничего не слышала. С трудом осознавала она, что и Каролина что-то бубнила ей – наверное, пыталась уговорить ее одуматься, согласиться на невероятно великодушное предложение Хвоцинского... Потом все словно бы смерклось перед глазами измученной девушки, а когда мгла несколько разошлась, она обнаружила себя лежащей на низкой кровати в полутемной комнате.

Приподнялась, огляделась...

Неужто она даже и не заметила, как была доставлена в монастырь? Но нет, эта комнатка на келью не похожа, это даже неискушенная Анята могла понять. Первое дело, кровать стоит под пыльным пологом темно-красного цвета. Да и мягкая она – на такой кровати не усмирять плоть, а только тешить ее. Пахло кругом сладко-сладко, словно бы цветами, было душно и как-то томно. Пробивался сквозь эту сладкую духоту и запах табака.

Анята сначала лежала без мыслей, пытаясь понять, где она и что с ней, а потом начала вспоминать случившееся – и так ей жалко себя сделалось, что она начала тихо точить слезы в пышную подушку с шелковой наволокой. И вдруг за стеной раздался женский смех. Анята так и вскинулась, так и скривилась, такой это был грубый, неприятный, вульгарный смех. Только самая низкопробная тварь могла так хохотать.

«Куда же я попала? Куда меня завезли?!»

Вспомнилось словно сквозь сон... какая-то женщина с воронено-черными волосами и с голыми плечами, губы у ней непомерно яркие, лицо набелено и нарумянено, мрачные, холод-

ные глаза... Видела ее Анюта или впрямь приснилась страшная?! Табаком от нее пахло – самую чуточку, а пахло, вот тем же, что в комнате пахнет...

У Анюты запершило в горле. Соскользнула с кровати и быстро перебежала через комнату к двери. Под ногами мягко проминался ковер. Ковер на полу... Ах боже мой, какие же богатые покои, вон и зеркала темно мерцают, и картины тут и там в золоченых рамах, и окна роскошными портьерами закрыты, и вазы с цветами на столиках, только отчего же даже роскошь этих покоев внушает отвращение и страх?

Она выглянула в коридор – да так и ахнула. Мимо, громко топоча каблуками, промчался мужчина. Он размахивал руками и пьяно кричал: «Отвяжись, тварь! Оставь меня в покое!» За ним, подбирая юбки, спешила женщина. Это была не та, чьи мрачные глаза и нарумяненные щеки пугали Анюту, но тоже «хороша» до невероятности: корсет ее был распущен, и из него – ах, боже мой! – вываливались голые груди, чуть прикрытые распатланными волосами.

– Постой, желанчик мой! – восклицала она. – погоди, миланчик! Ужо я тебя распотешу по-всякому, да иди же ко мне, куда ты?

Мужчина обернулся, поглядел на нее, мотнул светловолосой головой – и ринулся бежать дальше. Вот он свернул за угол, за ним кинулась женщина – только юбки ее мелькнули да босую голую ногу успела углядеть Анюта. Отзвуки обиженного визга еще доносились до нее...

Мгновение Анюта стояла, крепко зажмурясь, все еще не в силах осмыслить происходящее, затем открыла глаза. Она до сих пор не понимала, где находится, знала только, что ей здесь не место.

А где ей место? В монастыре? Но почему господин Хвощинский не отвез ее туда? Или отвозил? Наверное, это произошло в то время, пока Анюта была как бы без памяти. Но почему не оставил там? Ее не взяли, вот почему! Да неужто даже Богу она не нужна?! И тогда опекун привез ее сюда, в это страшное место, даже названия которому Анюта подобрать не может, знает только, что никак нельзя, невозможно ей здесь оставаться. Надо бежать, бежать, а куда?

Наверное, к Волге, куда ж еще? Все, что она знала о городе N, это что на Волге стоит... Даже видела сегодня ранним утром сизую воду ее, пока переправлялись на пароме. Ах, кабы знала, что ждет, так еще там бы утопилась! Ну да ничего, еще не поздно. Вот в этой сизой воде Анюта и утопит свои страдания. Если она не нужна Богу, значит, он простит ей грех самоубийства... вернее, не простит, а даже не заметит его совершения.

Анюта всхлипнула, сердито отерла глаза и вернулась в комнату. Подошла к окну и, сдвинув тяжелые портьеры, убедилась, что рамы оконные держатся на честном слове. Дернула их раз, другой, посильнее, еще сильнее – они и распахнулись. Высунулась – оказывается, окошко глядело в сад. Поодаль, за кустами смородины, забор, а в нем вроде бы калиточка виднеется. Хорошо бы она оказалась столь же хлипкой, как и рамы. Ну а нет... придется через забор лезть.

Анюта хотела было помолиться, попросить у Господа помощи, да вспомнила, что он от нее отступился, не захотел в обитель принять, и решила полагаться только на себя, по пословице – на Бога надейся, а сам не плошай. И, неуклюже подбирая юбки, кое-как перевалилась через подоконник. Упала на землю, спешно поднялась и, пригибаясь, побежала через кусты к калитке. Смородиновые ветки цеплялись за юбки и осыпали Анюту спелой душистой ягодой. Как-то вдруг она вспомнила, что нынче с утра у нее маковой росинки во рту не было, и голод на миг заглушил все остальные чувства. Девушка принялась проворно обирать ягоду и торопливо жевать. Смородина была перезрелая, чуточку пыльная и сладкая до невозможности. Остро вспомнилось Анюте, как она каждый год в это же время собирала смородину с тетушкой, чтобы потом сварить на меду... Слезы так и хлынули, и более съесть ни ягодки она не могла. Да и ладно, чего тут больно разъедаться-то, бежать пора, не ровен час хватятся ее эти... баба с голыми грудями, да разлохмаченный мужик, да иже с ними – слышала ведь Анюта голоса еще многих мужчин, пьяно хохочущих за стеной. А может быть, это приют разврата,

о котором порою нравоучительно говорила тетушка, вызывая у Анюты дрожь ужаса? Приют разврата, пристанище блудниц?! Наверное... Бежать, да поскорей!

Калитка оказалась чуть прижата щеколдою, и Анята выскочила на пыльную узкую улочку. Справа оказался тупик в виде лабаза, ну, значит, влево. Повернула за угол высокого забора – да и ахнула, оказавшись на широкой мостовой, по которой в обе стороны грохотали возы да кареты. А народу, народищу-то! Даже голова закружилась у злосчастной провинциалки. Куда теперь? Где Волга? Не спросишь ведь у первого встречного, куда, мол, бежать, коли топиться приспичило. Ах, вспомнила! Совсем недалеко от реки видела Анята разноцветные купола несказанно прекрасной церкви, и кучер на ее восхищенный вскрик ответил: это, мол, церковь Рождества Христова.

Анята огляделась по сторонам – у кого бы дорогу спросить. Мимо шли все больше мужчины, причем самого простого и грубого вида. С такими говорить невместно барышне, обращаться если к незнакомым, то лучше всего к даме. Но дам вблизи не просматривалось, одни бабы. Ну что ж, как говаривал господин учитель математики, большой любитель поиграть в макао<sup>2</sup>: «Коли больше не с чего, так с пик!» Нету дам, значит, придется обращаться к бабам.

В эту минуту Анята очень кстати увидела бабу, принакрытую большим пестрядинным платком, в очипочке на голове – концы торчали смешными рожками.

– Извините, сударыня, – как можно более вежливо начала Анята, – дозволейте спросить...

Баба стала столбом и выкатила глаза. О господи, не зря тетушка говорила, что излишняя любезность к простым так же вредна, как заносчивость с равными себе!

– Милая, скажи-ка мне, как к Рождественскому храму пройти? – покровительственным, небрежным тоном спросила Анята, и у бабы глаза несколько поубавились в размерах.

– Так вы, барышня, ножки натрудите ходимши, – ответила она. – Далек больно церква-то. Возьмите ваньку...

– Я сама знаю, что мне делать, – отмахнулась Анята, призывая на помощь всю свою заносчивость. – Ты мне не советуй всякую ерунду. Ты скажи, как к церкви Рождественской попасть, да поскорей!

– А вы, барышня, знать, не нашенская? – вдруг разулыбалась баба. – Тутешние господа к Рождественке обе дороги знают: и по тропочкам, через овраги, и улицами. Вам которую указать?

– Которую хочешь, ту и укажи, – нетерпеливо сказала Анята. – Лишь бы поскорей!

– Ну, тропочками побыстрее дойдете, – задумчиво произнесла баба, оказавшаяся, по всему, философкою, – да ведь там после дождей увязнуть можно. А улицами хоть и дольше, зато ног не замараете.

– О боже ты мой! – в сердцах воскликнула Анята, аж притопывая от нетерпения, так хотелось поскорей развязаться с этим мучением, именуемым жизнью. – Ну, сказывай, как идти улицами!

– Ну, перво-наперво, выйдете на Варварку, потом на Благовещенскую площадь, потом обочь кремля по Елоховскому съезду вниз, а там по Рождественской налево – и купола завиднеются, на них и идите.

– На Варварку... на Благовещенскую... вниз мимо кремля... – повторила Анята, запоминая. – А Варварка эта в какой стороне? До нее как добраться?

– Вы вот что, барыня, вы этак-то заблудитесь как пить дать, – всполошилась баба, и глаза ее приняли хитрое выражение. – Сем-ка я вас провожу? До самой Рождественки-матушки доведу, а вы мне... от щедрот ваших... детишкам на молочишко... сами знаете, городская жизнь со дня на день дорожает, с народишка не копейку, а грош тянет!

---

<sup>2</sup> Старинная карточная игра.

Может быть, Анюта приняла бы ее предложение, кабы был у нее тот грош или хотя бы малая полушка.

– Сама дойду как-нибудь, – отвела она глаза. – Значит, на Варварку вон туда? Ну, спаси Христос.

– И тебя, матушка! – довольно вызывающим тоном ответила баба, мигом прекращая «выкаты» и принимая недовольный вид: наверное, ждала более вещественной благодарности, а не получив ее, обиделась. – Скатертью дорожка!

Конечно, окажись на Анютином месте тетушка Марья Ивановна, она б не спустила бабе дерзости, потому что пребывала в твердом убеждении, что простонародье надобно держать в ежовых рукавицах и не попустительствовать ему, не то дожидаться можно нового Пугачева. Но в том-то и дело, что покойница Марья Ивановна никак не могла на Анютином месте оказаться...

При воспоминании о тетушке, ласковой, строгой, заботливой, ветру на Анюту не дававшей дунуть, у девушки слезы прихлынули к глазам от жалости к себе, от осознания полной своей ненужности хоть кому-то на всем этом свете.

«Ладно, уж недолго осталось», – подумала она, смахивая слезы, и ускорила было шаги, как вдруг позади раздался истошный вопль:

– Держи ее! Лови!

Анюта обернулась – да так и обмерла: из проулка выбежала целая орава людей. Предводительствовала ими та самая, нарумяненная, с воронными волосами и голыми плечами. Значит, она не во сне привиделась, а в самом деле перешла Анютину дорогу! Чуть позади семенила распатланная, виденная Анютой в коридоре странного и пугающего дома. Груды свои непристойные она малость прикрыла, но все равно вид имела ужасный. Окружала этих особ толпа мужчин, почти все в штатском, но мелькали и один-два мундира. И все показывали пальцами на Анюту и кричали:

– Да вот она! Держи ее!

Погоня! За ней! Обитатели и насельники ужасного дома решили настигнуть Анюту и вернуть ее к себе, в блудилище!

Девушка панически оглянулась, не ведая, как быть, что делать. Шмыгнуть бы в какой-нибудь проходной двор, преследователи не дознаются, что она побежит на Варварку... И в тот же миг она поняла, что улизнуть не удастся: баба, у которой она спрашивала дорогу, вдруг завопила голосом, который мог бы составить достойную компанию трубам Иерихона:

– Вон она! Туда побегла! Держи воровку!

С чего она взяла, что Анюта воровка?! Неужто из мести, что мзды не дождалась?

Так или иначе Анюта увидела, что вся компания повернулась к ней, словно некое многоглавое чудовище, и в один голос крикнула:

– Вот она! Держи ее!

Анюта ринулась вперед.

– Да что за дура! – возмущенно воскликнул кто-то из преследователей. – Гоняйся тут за ней! Этак мы в театр на представление опоздаем!

Анюта повернула за угол, за другой... топот преследователей не отставал. Она уже не понимала, куда бежит, где Варварка, да сие и неважно было, главное – от погони отвязаться. Еще один угол... проходной двор! Впереди маячит подворотня! Туда? Но преследователи и в ту подворотню за ней увяжутся. Надо где-то затаиться, где-то здесь, во дворе! А что это там за бочками с дождевой водой виднеется? Щель в заборе? Скорей туда! Может быть, удастся протиснуться?

Удалось, только юбки зацепились за что-то и никак не хотели отцепляться.

– Господи, да ты помоги же мне! – в сердцах крикнула Анюта, и в то же мгновение юбки отцепились. От неожиданного рывка она пролетела несколько вперед, поскользнулась и упала на колени на поросший травой клочок земли.

Смотрю, дивуюсь и глазам  
Своим не верю...  
Жмурюсь понапрасну,  
Но ты не исчезаешь:  
Снова мне терзаешь взор.  
Скажи, кто ты?!  
Явление ль ада?  
Звезд создание?  
А может быть,  
Земная женщина, и только? —

раздался рядом чей-то голос, и Анята вскинула голову, донельзя испуганная и странными словами, и патетической интонацией, с которой они были произнесены.

Удивительное существо смотрело на нее! Оно имело длинную, почти до земли, черную и необычайно густую бороду и усы, которые свешивались по обеим сторонам рта много ниже пояса. Одето было существо в короткие красные штаны с прорезями, надутые наподобие шаров: что-то подобное Анята видела на картинке в книжке из жизни стародавних французских королей. Совершенно как в той книжке был и камзол: рукава тоже надутые, а на груди – огромная и по виду очень тяжелая золотая цепь. Кроме всего перечисленного, на существе были белые нитяные чулки, плотно обхватывающие его кривые ноги, и красные же туфли с загнутыми носами, сильно напоминая стручки горького красного перца. Венчалось все это великолепие короной, столь же сильно блестящей, как и цепь.

Анята растерянно моргнула. Ничего и никого подобного ей в жизни видеть не приходилось! Может быть, она уже умерла, не заметив, как и когда, – и угодила в ад?! Наверное, ей там самое место за грех ее рождения...

– Восстань из праха и утри свои немые слезы, – произнесло между тем существо весьма участливо. – Поверь, не враг тебе я, не разбойник, а друг – быть может, лучший друг из тех, что в жизни ты могла своей увидеть!

Анята стояла столбом, совершенно ошарашенная.

– Держи! Где она? Вон туда, в подворотню побежала! Нет ее там! Она где-то во дворе! – раздались крики и топот за забором, и Анята поняла, что все еще находится на земле, в городе N, и за ней все еще продолжается погоня. Она заломила руки, глядя в лицо неизвестного страшилища. При всем своем безусловно ужасном облике он пугал ее куда меньше, чем женщина с воронными волосами, ее гологрудая компаньонка и те мужчины, которые ее преследовали.

– За тобой, что ли, погоня? – переходя на вполне человеческий язык и со вполне человеческим участием спросило существо.

Анята кивнула, смахивая слезы.

– Украла чего? А может... убила?!

Анята возмущенно вспыхнула:

– Меня в блудный дом обманом завезли, а я утопиться хочу с горя!

– Что?! – громко воскликнуло существо и тут же зажало себе рот, глянув на забор. Подкралось к нему на цыпочках, выглянуло в щель и так же на цыпочках воротилось к Аняте, шепча: – Они носятся туда-сюда, тише говори. Утопиться, ишь чего удумала! Да мыслимо ли такое?! Забудь! Забудь сей же миг, и чтоб никакой суфлер тебе больше этого не подсказал!

Суфлер?! Какой такой суфлер?! Опять существо начало чудесить, но Аняте было уже не до этого, потому что из-за забора снова раздались знакомые и ненавистные голоса:

– На улице ее не видать! Она где-то здесь! Гляньте, в заборе щель! Вон, за бочками!

– Спрячьте меня! – взмолилась Анята, заломив руки. – Ради бога, спрячьте меня!

Существо только миг смотрело на нее растерянно, потом глаза его напряженно сузились, какая-то мысль мелькнула в них, и улыбка раздвинула усы:

– Хорошо. Спрячу. Но только ты должна побожиться, что станешь мне повиноваться беспрекословно и слова без моего дозволения молвить не посмеешь. Согласна ли?

За спиной топот... уже близко, уже совсем рядом с забором. Сейчас отодвинут доску – и...

– Согласна! – выдохнула Анята, зажмурившись от страха.

В то же мгновение она была подхвачена за руку и увлечена на крыльцо... чуть не упала на ступеньках, но существо удержало ее. Краешком сознания Анята отметила, что вся его одежда как-то странно шелестит, как если бы была сделана из бумаги. Но в следующее мгновение существо втолкнуло ее в какую-то дверь, потом эту дверь захлопнуло, и Анята оказалась в кромешной темноте.

\* \* \*

– Ну что же, – спросил Хвоцинский, – сходил ли ты на пристань?

– Как же, батюшка, – кивнул Данила с важным видом. – Как же можно ослушаться? Сходил!

– И что?

– А что? Поспрошал народишко.

– Ну?! Что из тебя каждое слово надобно словно вожжами тянуть?!

– Да не надобно тянуть, барин. Поспрошал, говорю, выпросил, значит. Сказали мне про одного... Савелий имя его, Савка, по прозвищу Коркин, да все кличут просто Савка Резь<sup>3</sup>.

Хвоцинский зыркнул исподлобья, но промолчал.

– Резь, говорю, – продолжал Данила со значением. – Народишко сказывает, клейма негде поставить!

– Ну ты знаешь, особо какого звероватого мне тоже не надо, чтоб ни ступить, ни слова сказать не мог, чтобы люди от него во все стороны разбегались, – недовольно проговорил Хвоцинский. – Нужен человек с понятием и обхождением. Этот Резь твой таков ли?

– В точности! – с жаром вскричал Данила. – Именно таков! Глянешь – красавец! Девки да бабы из-за него крушат себя – это никакими словами не обсказать. В жизни не поверишь, что не добрый человек, а оторва последняя и смертоубивец. Лет двадцати пяти, а уж за плечами небось столько, что другому и не снести такой груз.

– А говорить может, как приличная персона? – озабоченно выпытывал Хвоцинский.

– Что соловей поет! – завел глаза Данила.

– Соловей-разбойник! – хмыкнул барин.

– Народишко сказывает, – сделал Данила таинственное лицо, – из доброй семьи этот Савка Резь. Оттого и пригляден, оттого и обходителен.

– А росту он какого? – обеспокоился Хвоцинский. – В плечах широк ли?

Данила сделал самую простецкую мину:

– Аккурат как вы, барин. И ежели, к примеру сказать, помыть Савку, да волосья ему малость пообкорнать, да картуз господский нахлобучить, да надеть на него какой-нибудь самый плохонький ваш сюртучишко, то и не отличишь его от благородного господина.

– Комедия ошибок! – пробормотал Хвоцинский.

– Чего изволите? – подобострастно спросил Данила.

– Да чего-чего... – проворчал господин. – Понятно чего!

---

<sup>3</sup> Лезвие ножа (*устаревш.*).

– Знамо дело! – кивнул его верный Лепорелло. – Да не кручиньтесь, батюшка барин, обделаем мы для вас это дельце. Коли с барышней сладили, сладим и с Савкою!

– Раскошелиться, конечно, придется... – Хвоцинский, кажется, беседовал сам с собой, однако Данила не замедлил и тут всунуться со своим толкованием:

– Так ведь дело-то какое... грошик вложишь, червонец получишь!

– Горазд ты, погляжу, деньги в чужом кармане считать! – построжал Хвоцинский.

Лепорелло сделал виноватую мину, однако хитрющие глаза его красноречиво говорили, что карман господина вряд ли может считаться чужим для слуги.

– Ты с Савкою этим побеседовал ли или просто издали приглядывался? – вкрадчиво спросил Хвоцинский.

Данила поглядел на барина с сомнением. Он никак не мог решить, какой ответ дать. Поручения повести с Савкой разговор на опасную тему барин ему не давал. С другой стороны, как понять, можно ли человеку поручить исполнение такого непростого дела, если не спросить его об этом?! Понятно, он Савке не так вот все прямо на ладошке выложил. Повел речь изда-лека, но тот был тертый, ох, тертый калач! Мигом смекнул, к чему ведет нечаянный собеседник, и только ухмыльнулся щербато (это был единственный недостаток в его, пожалуй, даже чрезмерно смазливой физиономии) с готовностью сделать все, что надо, – само собой, за немалую плату.

– Ладно тебе кривляться, Данила! – рассердился Хвоцинский. – И так вижу, что не удержался, распустил язык. Да и ладно... за спрос денег не берут. Как стоворились-то?

– Ну, когда дельце приспееет, я схожу опять на пристань да Савку и приведу к вашей милости.

– Ну вот еще! – с неудовольствием вскинул голову Хвоцинский. – Еще доставало – сюда его вести! А ну приметит кто?

– А иначе как? Где ж вам с ним повидаться, барин? – развел руками Данила. – В клубе вашем встречаться – смеху подобно. На пристань вам самому идти али в кабак, где грузчики пьют, – невместно. А в дом мало ли какой работный человек прийти может либо торговец? Войдет он в картузишке своем да в плисовых штанах, а выйдет принаряженный да с другого хода. Не тревожьтесь, барин Константин Константинович, все будет слажено по вашей воле и замыслу!

– А я вот тревожусь, – сварливо проворчал Хвоцинский, однако он прекрасно понимал, что и тревожиться, и искать отходные пути надо было раньше. Теперь дело зашло слишком далеко, чтобы останавливаться или сворачивать. Коготок, как говорится, увяз – всей птичке пропасть.

Ну, само собой, Хвоцинский от души надеялся, что он – он-то не пропадет!

\* \* \*

Несколько минут существо куда-то влекло Анюту. Глаза ее привыкали к темноте, вдобавок то тут, то там виднелись масляные площадки, рассеивающие мрак. Послышался шум, звон, отдаленные голоса, топот множества ног. И еще дальний рокот, налетавший подобно отдаленному рокоту грозы...

– Да такого короля убить надо! Где он шляется?!

Услышав яростный крик, Анюта вздрогнула и принялась испуганно озираться.

Сильная рука влекла ее все дальше и дальше, вокруг становилось светлее, и с каждой минутой ей все отчетливее казалось, что спаситель будет ее губителем, потому что тащил он ее напрямик в ад. Оказывается, туда собрались грешники самых что ни на есть невообразимых времен и народов. Мимо Анюты, озаренные сполохами горящих тут и там площадок и толстых, оплывающих сальных свечей, пробежали виденные ею прежде только на картинках мавры

и папуасы, а также придворные дамы в роскошных одеяниях. Были тут и рыцари в железных доспехах, и нежные пастушки, и даже несколько магов и волшебников прошли, волоча длинные, расписанные звездами мантии и придерживая на головах остроконечные колпаки. Все эти одеяния как-то странно шелестели... И вдруг Анюта поняла почему. Мимо пробежал мальчишка, самый обыкновенный босоногий мальчишка, тощий и невзрачный, неся несколько аршин тяжелой на вид и вроде бы даже чугунной цепи. Однако эту тяжесть он очень легко держал в охапке. Анюта покосилась на золотую цепь на груди своего спасителя – и вдруг поняла, что и эта цепь, и та, которую тащил мальчишка, были всего-навсего склеены из бумаги, а потом раскрашены: одна золотой краской, а другая – просто черной. Бумажными были и шлемы, и латы рыцарей, и колпаки магов, и короны королей и королев, и даже надутые пузырями штаны спасителя тоже явно были бумажными! А мечи рыцарей оказались деревянными, потому что один такой меч ударился о скамейку, и раздался отчетливый деревянный стук.

Да что это такое? Куда опять попала Анюта? Женщины сильно накрашены, да и мужчины тоже, а между тем нет здесь того удушающего аромата блуда, от которого так худо было Анюте совсем недавно...

Что это? Где она?

– Да ты не трясись так, – ласково обернулся к ней спаситель, видимо, уловивший дрожь ее руки. – Чего испугалась? Это ж театр. Только мы зашли не с парадного входа, а с артистического. И напрямик за кулисы угодили. Небось никогда за кулисами не была?

Анюта покачала головой и только собралась признаться, что и в зрительном зале не бывала (в городке, где она жила у тетушки Марьи Ивановны, не было театра, а любительские спектакли, которые давали то в одном доме, то в другом, наверное, не в счет), как вдруг...

– Где ты шлялся, бездельник?! – грянуло вдруг над ухом. – Ты мне обещал Помпилию! Наврал?! Ну тогда собирай свое барахло и вали вон из моего театра!

Спаситель и Анюта обернулись и увидели перед собой высокого и не в меру толстого человека с большой, круглой и совершенно лысой головой. На нем был засаленный сюртук зеленого бархата, широкие клетчатые штаны, заправленные в сапоги с отворотами (такие раньше Анюта лишь на охотниках видела), а сорочка имела вид не мытой с тех пор, как вышла из рук белошвейки.

– Помилуйте, господин директор! – возмущенно воскликнул Анютин спаситель. – За что грозитесь?! Разве можно не верить слову Аксюткина?! Да разве я солгал в жизни хоть единожды? Кто это, по-вашему, коли не Помпилия?!

И он чуть подтолкнул вперед Анюту, с такой силой стиснув ее руку, что она на миг онемела и не смогла возмутиться, мол, никакая она не Помпилия, а Анюта Осмоловская... хотя нет, Осмоловской зваться она уже не может, ну а как же представляться?

Размышления об этом тоже заставили ее помедлить с возмущенным воплем. К тому же она вспомнила, что обещала спасителю повиноваться беспрекословно...

Человек в зеленом сюртуке, названный господином директором, схватил ближайшую плоскую и поднес к Анютиному лицу. Она испуганно отшатнулась и зажмурилась.

– Хм, – промолвил директор изумленно. – И впрямь привел. И впрямь Помпилия... Видать, леший в лесу сдох, коли Аксюткин правду сказал! Тогда чего по кулисам шляетесь? Скорей веди ее переодеваться да роль учите! Выход через полчаса! Она хоть грамотная?

– А как же! – радостно вскричал Анютин спаситель, фамилия которого, как выяснилось, была Аксюткин. – В институте благородных девиц обучалась.

– Фу-ты ну-ты... – скептически буркнул директор и канул куда-то в глубину многочисленных длинных-предлинных тряпок, которые зачем-то свешивались с потолка и на которых были нарисованы дома, деревья и даже дворцы.

– Я не училась ни в каком институте благородных девиц, – пробормотала Анюта.

– Да и шут с ними, с девицами. – Аксюткин обернулся к ней своей пугающей бородатой и усатой физиономией. – Грамоте-то хоть знаешь?

– Конечно. А что все это значит? Почему вы меня Помпилией назвали?

– погоди, – сказал Аксюткин и начал красться на цыпочках куда-то вперед.

Анюта шагнула было следом, но он обернулся, грозно махнул рукой – стой, мол, на месте! – и она замерла. Аксюткин скрылся за очередной тряпкой, свисавшей с потолка, но через миг вернулся.

– Плохи дела, – сказал озабоченно. – Эти-то, которые за тобой гнались... они уже в театр пробрались. Ходят по залу. Тебя, видать, ищут.

У Анюты от ужаса подкосились ноги. Мигом вспомнилось, как кто-то из преследователей кричал, что не хочет в театр опаздывать из-за «этой дуры». Вот это спряталась она, называется... Надо бежать отсюда!

– Как отсюда выйти? – спросила испуганно. – Где дверь?

– Бежать задумала? А вдруг они и у артистического стерегут? – сделал страшные глаза, сказал Аксюткин. – Тогда и угодишь как кур в ошип! Еще, глядишь, они по кулисам искать станут... Тебе обличье сменить надо. Переодеться, чтоб, даже если и наткнутся на тебя, нипочем не узнали! Иди за мной!

И он свернул еще за какие-то тряпки, очутившись перед низкой дверью. Толкнул ее – и оба очутились в низенькой камерке без окон, где Анюта едва могла стоять во весь рост. Камерка оказалась невероятно тесна: там имелся только столик с небольшим трюмо да табурет перед ним, а все остальное пространство было заставлено коробами и завалено разноцветной одеждою. Ярко горели свечи, на столе громоздились коробочки с пудрой и флаконы.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.